



классика  
**В** школе



Лев Николаевич  
**Толстой**

Юность

Москва



2016

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)1-44  
Т52

Оформление серии *О. Горбовской*

**Толстой, Лев Николаевич.**  
Т52 Юность / Лев Толстой. — Москва : Издательство «Э»,  
2016. — 224 с. — (Классика в школе).

ISBN 978-5-699-83104-3

Перед вами книга из серии «Классика в школе», в которой собраны все произведения, изучающиеся в начальной школе, средних и старших классах. Не тратьте время на поиски литературных произведений, ведь в этих книгах есть все, что необходимо прочесть по школьной программе: и для чтения в классе, и для внеклассных заданий. Избавьте своего ребенка от длительных поисков и невыполненных уроков.

В книгу включена автобиографическая повесть «Юность» Л.Н. Толстого, которую изучают в 9–10-х классах.

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

ISBN 978-5-699-83104-3

© Оформление. ООО «Издательство «Э»,  
2015

## Глава I

### ЧТО Я СЧИТАЮ НАЧАЛОМ ЮНОСТИ

Я сказал, что дружба моя с Дмитрием открыла мне новый взгляд на жизнь, ее цель и отношения. Сущность этого взгляда состояла в убеждении, что назначение человека есть стремление к нравственному усовершенствованию и что усовершенствование это легко, возможно и вечно. Но до сих пор я наслаждался только открытием новых мыслей, вытекающих из этого убеждения, и составлением блестящих планов нравственной, деятельной будущности; но жизнь моя шла все тем же мелочным, запутанным и праздным порядком.

Те добродетельные мысли, которые мы в беседах перебирали с обожаемым другом моим Дмитрием, *чудесным Митей*, как я сам с собою шепотом иногда называл его, еще нравились только моему уму, а не чувству. Но пришло время, когда эти мысли с такой свежей силой морального открытия пришли мне в голову, что я испугался, подумав о том, сколько времени я потерял даром, и тотчас же, в ту же секунду захотел прилагать эти мысли к жизни, с твердым намерением никогда уже не изменять им.

И с этого времени я считаю начало *юности*.

Мне был в то время шестнадцатый год в исходе. Учителя продолжали ходить ко мне. St.-Jérôme

присматривал за моим учением, и я поневоле и неохотно готовился к университету. Вне учения занятия мои состояли: в уединенных бессвязных мечтах и размышлениях, в деланиях гимнастики, с тем чтобы сделаться первым силачом в мире, в шлянии без всякой определенной цели и мысли по всем комнатам и особенно коридору девичьей и в разглядывании себя в зеркало, от которого, впрочем, я всегда отходил с тяжелым чувством уныния и даже отвращения. Наружность моя, я убеждался, не только была некрасива, но я не мог даже утешать себя обыкновенными утешениями в подобных случаях. Я не мог сказать, что у меня выразительное, умное или благородное лицо. Выразительного ничего не было — самые обыкновенные, грубые и дурные черты; глаза маленькие, серые, особенно в то время, когда я смотрелся в зеркало, были скорее глупые, чем умные. Мужественного было еще меньше: несмотря на то, что я был не мал ростом и очень силен по летам, все черты лица были мягкие, вялые, неопределенные. Даже и благородного ничего не было; напротив, лицо мое было такое, как у простого мужика, и такие же большие ноги и руки; а это в то время мне казалось очень стыдно.

## Глава II ВЕСНА

В тот год, как я вступил в университет, святая была как-то поздно в апреле, так что экзамены были назначены на Фоминой, а на страстной

я должен был и говеть и уже окончательно приготавливаться.

Погода после мокрого снега, который, бывало, Карл Иваныч называл *«сын за отцом пришел»*, уже дня три стояла тихая, теплая и ясная. На улицах не видно было клочка снега, грязное тесто заменилось мокрой, блестящей мостовой и быстрыми ручьями. С крыш уже на солнце стаивали последние капли, в палисаднике на деревьях надувались почки, на дворе была сухая дорожка, к конюшне мимо замерзлой кучи навоза и около крыльца между камнями зеленелась мшистая травка. Был тот особенный период весны, который сильнее всего действует на душу человека: яркое, на всем блестящее, но не жаркое солнце, ручьи и проталинки, пахучая свежесть в воздухе и нежно-голубое небо с длинными прозрачными тучками. Не знаю почему, но мне кажется, что в большом городе еще ошутительнее и сильнее на душу влияние этого первого периода рождения весны, — меньше видишь, но больше предчувствуешь. Я стоял около окна, в которое утреннее солнце сквозь двойные рамы бросало пыльные лучи на пол моей невыносимо надоевшей мне классной комнаты, и решал на черной доске какое-то длинное алгебраическое уравнение. В одной руке я держал изорванную мягкую *«Алгебру»* Франкера, в другой — маленький кусок мела, которым испачкал уже обе руки, лицо и локти полуфрачка. Николай в фартуке, с засученными рукавами, отбивал клещами замазку и отгибал гвозди окна, которое отворялось в палисадник. Его занятие и стук, который он производил, развлекали мое внимание. Притом я был в весьма дурном,

недовольном расположении духа. Все как-то мне не удавалось: я сделал ошибку в начале вычисления, так что надо было все начинать сначала; мел я два раза уронил, чувствовал, что лицо и руки мои испачканы, губка где-то пропала, стук, который производил Николай, как-то больно потрясал мои нервы. Мне хотелось рассердиться и поворчать; я бросил мел, «Алгебру» и стал ходить по комнате. Но мне вспомнилось, что нынче страстная среда, нынче мы должны исповедоваться, и что надо удерживаться от всего дурного; и вдруг я пришел в какое-то особенное, кроткое состояние духа и подошел к Николаю.

— Позволь, я тебе помогу, Николай, — сказал я, стараясь дать своему голосу самое кроткое выражение; и мысль, что я поступаю хорошо, подавив свою досаду и помогая ему, еще более усилила во мне это кроткое настроение духа.

Замазка была отбита, гвозди отогнуты, но, несмотря на то, что Николай из всех сил дергал за перекладки, рама не подавалась.

«Если рама выйдет теперь сразу, когда я потяну с ним, — подумал я, — значит, грех, и не надо нынче больше заниматься». Рама подалась набок и вышла.

— Куда отнести ее? — сказал я.

— Позвольте, я сам управлюсь, — отвечал Николай, видимо, удивленный и, кажется, недовольный моим усердием, — надо не спутать, а то там, в чулане, они у меня по номерам.

— Я замечу ее, — сказал я, поднимая раму.

Мне кажется, что, если бы чулан был версты за две и рама весила бы вдвое больше, я был бы очень

доволен. Мне хотелось измучиться, оказывая эту услугу Николаю. Когда я вернулся в комнату, кирпичики и соляные пирамидки были уже переложены на подоконник и Николай крылышком сметал песок и сонных мух в растворенное окно. Свежий пахучий воздух уже проник в комнату и наполнял ее. Из окна слышался городской шум и чиликанье воробьев в палисаднике.

Все предметы были освещены ярко, комната повеселела, легкий весенний ветерок шевелил листья моей «Алгебры» и волоса на голове Николая. Я подошел к окну, сел на него, перегнулся в палисадник и задумался.

Какое-то новое для меня, чрезвычайно сильное и приятное чувство вдруг проникло мне в душу. Мокрая земля, по которой кое-где выбивали ярко-зеленые иглы травы с желтыми стебельками, блестящие на солнце ручьи, по которым вились кусочки земли и щепки, покрасневшиеся прутья сирени с вспухлыми почками, качавшимися под самым окошком, хлопотливое чиликанье птичек, копошившихся в этом кусте, мокрый от таявшего на нем снега черноватый забор, а главное — этот пахучий сырой воздух и радостное солнце говорили мне внятно, ясно о чем-то новом и прекрасном, которое, хотя я не могу передать так, как оно сказывалось мне, я постараюсь передать так, как я воспринимал его, — все мне говорило про красоту, счастье и добродетель, говорило, что как то, так и другое легко и возможно для меня, что одно не может быть без другого, и даже что красота, счастье и добродетель — одно и то же. «Как мог я не понимать этого, как дурачок я был прежде, как я мог

бы и могу быть хорош и счастлив в будущем! — говорил я сам себе. — Надо скорей, скорей, сию же минуту сделаться другим человеком и начать жить иначе». Несмотря на это, я, однако, долго еще сидел на окне, мечтая и ничего не делая. Случалось ли вам летом лечь спать днем в пасмурную дождливую погоду и, проснувшись на закате солнца, открыть глаза и в расширяющемся четырехугольнике окна, из-под полотняной сторы, которая, надувшись, бьется прутом об подоконник, увидеть мокрую от дождя, тенистую, лиловатую сторону липовой аллеи и сырую садовую дорожку, освещенную яркими косыми лучами, услышать вдруг веселую жизнь птиц в саду и увидеть насекомых, которые вьются в отверстия окна, просвечивая на солнце, почувствовать запах последождового воздуха и подумать: «Как мне не стыдно было проспять такой вечер», — и торопливо вскочить, чтобы идти в сад порадоваться жизнью? Если случилось, то вот образчик того сильного чувства, которое я испытывал в это время.

### Глава III МЕЧТЫ

«Нынче я исповедаюсь, очищаюсь от всех грехов, — думал я, — и больше уж никогда не буду... (тут я припомнил все грехи, которые больше всего мучили меня). Буду каждое воскресенье ходить непременно в церковь, и еще после целый час читать Евангелие, потом из *беленькой*, которую я буду получать каждый месяц, когда поступлю в универ-

ситет, непременно два с полтиной (одну десятую) я буду отдавать бедным, и так, чтобы никто не знал: и не нищим, а стану отыскивать таких бедных, сироту или старушку, про которых никто не знает.

У меня будет особенная комната (верно, St.-Jérôme'ова), и я буду сам убирать ее и держать в удивительной чистоте; человека же ничего для себя не буду заставляя делать. Ведь он такой же, как и я. Потом буду ходить каждый день в университет пешком (а ежели мне дадут дрожки, то продам их и деньги эти отложу тоже на бедных) и в точности буду исполнять все (что было это «все», я никак бы не мог сказать тогда, но я живо понимал и чувствовал это «все» разумной, нравственной, безупречной жизни). Буду составлять лекции и даже вперед проходить предметы, так что на первом курсе буду первым и напишу диссертацию; на втором курсе уже вперед буду знать все, и меня могут перевести прямо в третий курс, так что я восемнадцати лет кончу курс первым кандидатом с двумя золотыми медалями, потом выдержу на магистра, на доктора и сделаюсь первым ученым в России... даже в Европе я могу быть первым ученым... Ну, а потом? — спрашивал я сам себя, но тут я припомнил, что эти мечты — гордость, грех, про который нынче же вечером надо будет сказать духовнику, и возвратился к началу рассуждений: — Для приготовления к лекциям я буду ходить пешком на Воробьевы горы; выберу себе там местечко под деревом и буду читать лекции; иногда возьму с собой что-нибудь закусить: сыру или пирожок от Педотти, или что-нибудь. Отдохну и потом стану читать какую-нибудь хоро-

шую книгу, или буду рисовать виды, или играть на каком-нибудь инструменте (неприменно выучусь играть на флейте). Потом *она* тоже будет ходить гулять на Воробьевы горы и когда-нибудь подойдет ко мне и спросит: кто я такой? Я посмотрю на нее этак печально и скажу, что я сын священника одного и что я счастлив только здесь, когда один, совершенно один-одинешенек. Она подаст мне руку, скажет что-нибудь и сядет подле меня. Так каждый день мы будем приходить сюда, будем друзьями, и я буду целовать ее... Нет, это нехорошо. Напротив, с нынешнего дня я уж больше не буду смотреть на женщин. Никогда, никогда не буду ходить в девичью, даже буду стараться не проходить мимо; а через три года выйду из-под опеки и женюсь непременно. Буду делать нарочно движенья как можно больше, гимнастику каждый день, так что, когда мне будет двадцать пять лет, я буду сильней Раппо. Первый день буду держать по полпуда «вытянутой рукой» пять минут, на другой день двадцать один фунт, на третий день двадцать два фунта и так далее, так что, наконец, по четыре пуда в каждой руке, и так, что буду сильнее всех в дворе; и когда вдруг кто-нибудь вздумает оскорбить меня или станет отзываться непочтительно об *ней*, я возьму его так, просто, за грудь, подниму аршина на два от земли одной рукой и только подержу, чтоб чувствовал мою силу, и оставлю; но, впрочем, и это нехорошо; нет, ничего, ведь я ему зла не сделаю, а только докажу, что я...»

Да не упрекнут меня в том, что мечты моей юности так же ребячески, как мечты детства и отрочества. Я убежден в том, что, ежели мне сужде-

но прожить до глубокой старости и рассказ мой догонит мой возраст, я стариком семидесяти лет буду точно так же невозможно ребячески мечтать, как и теперь. Буду мечтать о какой-нибудь прелестной Марии, которая полюбит меня, беззубого старика, как она полюбила Мазепу, о том, как мой слабоумный сын вдруг делается министром по какому-нибудь необыкновенному случаю, или о том, как вдруг у меня будет пропасть миллионов денег. Я убежден, что нет человеческого существа и возраста, лишённого этой благодетельной, утешительной способности мечтания. Но, исключая общей черты невозможности — волшебности мечтаний, мечтания каждого человека и каждого возраста имеют свой отличительный характер. В тот период времени, который я считаю пределом отрочества и началом юности, основой моих мечтаний были четыре чувства: любовь к *ней*, к воображаемой женщине, о которой я мечтал всегда в одном и том же смысле и которую всякую минуту ожидал где-нибудь встретить. Эта *она* была немножко Сонечка, немножко Маша, жена Василья, в то время, как она моет белье в корыте, и немножко женщина с жемчугами на белой шее, которую я видел очень давно в театре, в ложе подле нас. Второе чувство было любовь любви. Мне хотелось, чтобы все меня знали и любили. Мне хотелось сказать свое имя: Николай Иртеньев, и чтобы все были поражены этим известием, обступили меня и благодарили бы за что-нибудь. Третье чувство было надежда на необыкновенное, тщеславное счастье — такая сильная и твердая, что она переходила в сумасшествие. Я так был уверен, что очень скоро, вследст-

вие какого-нибудь необыкновенного случая, вдруг сделаюсь самым богатым и самым знатным человеком в мире, что беспрестанно находился в тревожном ожидании чего-то волшебного счастливого. Я все ждал, что вот *начнется*, и я достигну всего, чего может желать человек, и всегда повсюду торопился, полагая, что уже *начинается* там, где меня нет. Четвертое и главное чувство было отвращение к самому себе и раскаяние, но раскаяние до такой степени слитое с надеждой на счастье, что оно не имело в себе ничего печального. Мне казалось так легко и естественно оторваться от всего прошедшего, переделать, забыть все, что было, и начать свою жизнь со всеми ее отношениями совершенно снова, что прошедшее не тяготило, не связывало меня. Я даже наслаждался в отвращении к прошедшему и старался видеть его мрачнее, чем оно было. Чем чернее был круг воспоминаний прошедшего, тем чище и светлее выдавалась из него светлая, чистая точка настоящего и развивались радужные цвета будущего. Этот-то голос раскаяния и страстного желания совершенства и был главным новым душевным ощущением в ту эпоху моего развития, и он-то положил новые начала моему взгляду на себя, на людей и на мир божий. Благой, отрадный голос, столько раз с тех пор, в те грустные времена, когда душа молча покорялась власти жизненной лжи и разврата, вдруг смело восстававший против всякой неправды, злостно обличавший прошедшее, указывавший, заставляя любить ее, ясную точку настоящего и обещавший добро и счастье в будущем, — благой, отрадный голос! Неужели ты перестанешь звучать когда-нибудь?

## Глава IV

### НАШ СЕМЕЙНЫЙ КРУЖОК

Папа эту весну редко бывал дома. Но зато, когда это случалось, он бывал чрезвычайно весел, брэнчал на фортепьянах свои любимые штучки, делал сладенькие глазки и выдумывал про всех нас и Мими шуточки, вроде того, что грузинский царевич видел Мими на катанье и так влюбился, что подал прошение в синод об разводной, что меня назначают помощником к венскому посланнику, — и с серьезным лицом сообщал нам эти новости; пугал Катеньку пауками, которых она боялась; был очень ласков с нашими приятелями Дубковым и Нехлюдовым и беспрестанно рассказывал нам и гостям свои планы на будущий год. Несмотря на то, что планы эти почти каждый день изменялись и противоречили один другому, они были так увлекательны, что мы их заслушивались, и Любочка, не смигивая, смотрела прямо на рот папа, чтобы не проронить ни одного слова. То план состоял в том, чтобы нас оставить в Москве в университете, а самому с Любочкой ехать на два года в Италию, то в том, чтоб купить имение в Крыму, на южном берегу, и ездить туда каждое лето, то в том, чтобы переехать в Петербург со всем семейством, и т. п. Но, кроме особенного веселья, в папа последнее время произошла еще перемена, очень удивлявшая меня. Он сшил себе модное платье — оливковый фрак, модные панталоны со штрипками и длинную бекешу, которая очень шла к нему, и часто от него прекрасно пахло духами, когда он ездил в гости, и особенно к одной даме, про которую Мими не